

# О «НЕ СОВСЕМ РУССКОЙ ПОЭТИКЕ» ДОВЛАТОВА

-- Его место в современной литературе --

(Доклад на конференции AAASS в Сиэтле)

Мицуёси Нумано (沼野充義)

Будет ли праздным такой вопрос: до какой степени Довлатов был «русским писателем» и до какой степени «американским писателем»? Ответ русских читателей на этот вопрос будет, наверное, единогласным: «Конечно, он русский писатель; тут Америка ни при чем.» Действительно, теперь, когда литературное наследие Довлатова благополучно вернулось на родину и уже принято как неотделимая часть литературы метрополии, русские, живущие там, почти привыкли считать его «русским писателем». Так, например, Вячеслав Курицын смело относит Довлатова целиком к типичной «ленинградской школе», утверждая, что он «вполне вписывается» в ленинградскую прозу как целое. По мнению критика «Америка Довлатова -- это, в общем, не совсем Америка: все свои, все говорят на русском языке...» <sup>(1)</sup>

Но надо заметить, что русские читатели таким образом начинают, мне кажется, уже недооценивать значение того неоспоримого факта, что становление того писателя, какого мы сейчас знаем под именем Довлатова, имело место именно в Америке в той напряженной пустоте между двумя культурами, которую мы называем «эмиграцией». Кроме того, дело, конечно, не только в биографии писателя: на наш взгляд, или по крайней мере на взгляд японского слависта, сама эстетика Довлатова не совсем «вписывается» в рамки традиционного образа русской литературы. Тут я потороплюсь оговориться, что здесь речь идет скорее о довольно стереотипном, общепринятом «имидже» русской литературы, складывавшемся долгие годы по преимуществу на Западе (в том числе и в Японии). Точно ли совпадает этот имидж с русской литературной действительностью -- это другое дело. Но можно сказать предварительно, что этот имидж не совсем западная

фикция; до значительной степени он принят самими русскими и поддержан практикой русской литературы.

Предаваясь классификационной привычке японского филолога, я хочу перечислить семь отличительных черт поэтики Довлатова, которые я считаю нетрадиционными и нетипичными для русской литературы и свежесть которых помогла Довлатову добиться признания не только на Западе и в Японии, но также и в России; а именно:

- 1) краткость и крайний лаконизм
- 2) анекдотичность
- 3) отсутствие морализаторства (или поучительства)
- 4) безыдейность и неидеологичность; сопротивление введению в литературу всякой идеологии
- 5) умышленное «снижение» позиции повествователя (intentional understatement)
- 6) ироническое отдаление от предметов изображения и от самого себя
- 7) «ненациональность» (отсутствие патриотического сознания своей принадлежности к какой-либо национальности)

Я полагаю, что большинство этих особенностей очевидны, даже не нуждаются в лишних объяснениях. Теперь я постараюсь все-таки добавить от себя по порядку короткие комментарии:

#### 1) Краткость и крайний лаконизм

Как Аи Мория конкретно показала в своем докладе, одной из отличительных черт прозы Довлатова, первой бросающейся в глаза, является краткость. Эта «краткость», резко отличающаяся от традиционной «многословности», так характерной все еще для современной русской литературы, наблюдается на разных ступенях структуры его прозы:

а) Каждое предложение коротко; сложные предложения появляются редко. В связи с этой особенностью Довлатовской прозы характерно также необычайно частое употребление многоточия в конце предложения. Частое многоточие в прозе

Довлатова не случайно, так как мы хорошо знаем, что он был таким тонким стилистом, что даже не любил, когда редакторы исправляли очевидные ошибки или опечатки в его тексте. (Вспомним, например, конфликт между Довлатовым и Веллером, описанный в повести последнего «Ножик Сережи Довлатова».) <sup>(2)</sup>

б) Многозначие Довлатова намекает на нарочитую недосказанность и этим скромным знаком Довлатов выражает решительный отказ от вступления в густой лес многословности и тем самым избегает литературщины, которой писатель мог бы заполнить много толстых томов. (Кстати, один японский критик очень метко заметил в рецензии на японский перевод повести Довлатова «Наши», что в этой книге такое количество исторического материала, которое дает возможность написать несколько томов огромного эпического романа в солженицынском духе. <sup>(3)</sup>

В результате Довлатов, как и Чехов, не написал ни одного толстого романа, который «возводит писателя в высший разряд» <sup>(4)</sup> в российском читательском сознании. Кстати, в японском читательском сознании нет такого культа толстого романа; у нас обычно судят о мастерстве писателя по рассказам и многие литературные премии присуждаются за хорошие рассказы, а не за большие романы. Таким образом есть основание надеяться, что японской читающей публике особенно понравится Довлатов, который резко отличается своей краткостью формы от таких русских классиков, как Достоевский и Толстой.

в) Действительно, все книги Довлатова тонкие, и мы часто затрудняемся отнести его произведения к какому-либо жанру. «Наши», «Чемодан», «Зона», «Компромисс» -- это, конечно, не романы. Но можно ли тогда назвать их «повестями»? Тоже трудно, потому что все эти книги состоят из еще меньших отдельных рассказов, эпизодов и анекдотов. Поэтому лучше их назвать «циклами рассказов», тесно связанных друг с другом.

## 2) Анекдотичность

Если рассмотреть подробнее внутреннюю структуру произведений Довлатова, мы не можем не заметить, что маленькие рассказы, составляющие цикл в форме «повести», часто состоят из еще меньших повествовательных единиц, которые можно назвать

своего рода «анекдотами». Так, например, читая первую главу повести «Наши», мы прослеживаем жизненный путь деда Исаака через множество анекдотов об его разных возрастах, но эта длинная цепь анекдотов не достигает какой-либо развязки, которая обычно требуется от формы романа, а просто обрывается вдруг расстрелом деда в сталинское время.

Такая анекдотичная структура не приводит повествование к какому-либо смысловому ядру, вокруг которого форма большого романа может быть образована. Повествование Довлатова, основанное на ряде анекдотов, не проникает в глубинную структуру нашей жизни и не пытается довести читателя до самого конца или начала бытия; оно просто скользит по поверхности истории.

Здесь уместно остановиться на характеристике анекдотов, которые Довлатов очень любил записывать: хотя эти анекдоты представляются правдоподобными записями и наивный читатель может подумать, что они основаны на реальных событиях, которые произошли в действительности, многие из них выдумка Довлатова. Однажды я спросил Булата Окуджаву, получил ли он действительно так много телеграмм с нестандартным текстом «Будь здоров, школяр!», как об этом пишет Довлатов в одном анекдоте. <sup>(5)</sup> Тогда Булат Шалвович ответил в недоумении, что никогда ни получал ни одной такой телеграммы. Действительно, как сам Довлатов говорит в интервью с Джоном Глэдом, «правды и документальной правды и точности» в его рассказах «гораздо меньше, чем кажется». Он «очень многое выдумал». <sup>(6)</sup>

Но очарование его анекдотов заключается именно в том, что они так правдоподобны и описывают реальных людей даже реальнее, чем в реальности, так что читатель охотно верит в их «гиперреальную правду». В этом смысле анекдоты у Довлатова -- это могучее оружие, при помощи которого можно переосмыслить реальность и создать гиперреальную реальность, в которой черты каждого человека проявляются гораздо ярче, чем в действительности. Такой прием, конечно, чужд традиционному реализму, который был в общем и целом господствующим направлением (mainstream) русской литературы.

### 3) Отсутствие морализаторства (или поучительства)

На Западе довольно распространен образ типично русского писателя как поучителя общества или морализатора. Довлатов представляет собой прямую противоположность такому образу. Однажды он сам высказался очень откровенно на эту тему (на конференции в Los Angeles в 1981 г.), вспоминая о разговоре с американским редактором:

Мне известно, что я не Воннегут. И тем более -- не Фолкнер. Мне хотелось выяснить, чем же я им (американцам -- М.Н.) понравился. Мне объяснили:

-- Большинство русских авторов любит поучать читателя, воспитывать его. Причем в довольно резкой, требовательной форме. Черты непрощенного мессианства раздражают западную аудиторию. Здесь этого не любят. И не покупают...

Видно, мне повезло. Воспитывать людей я не осмеливаюсь. Меня и четырнадцатилетняя дочка-то не слушается...

Действительно, русская литература зачастую узурпирует функции церкви и государства. И рассчитывает на соответствующее отношение. (7)

Примерно такая же позиция всегда поддерживается в повествовании Довлатова. Это, конечно, отнюдь не значит, что у него нет никакой морали. Совсем наоборот, у него есть очень тонкое, своеобразное чувство морали. Только оно у Довлатова проявляется не в прямом виде открытого морализаторства, а скорее в виде иронического взгляда на окружающий абсурдный мир. Такая писательская позиция, конечно, не является уникальной, но остается довольно незаметной в главном русле русской литературы, тем более что писатели «поучительного типа (Толстой и Солженицын) ярче бросаются в глаза читающей публике. В этом смысле можно сказать, что Довлатов, как и Чехов, ставит вопросы, а не решает их, и не считает их решение задачей писателя.

Довлатов очень хорошо сознавал довольно скромную роль писателя в своем лице, хотя вовсе не отрицал значения других писателей «высшего разряда». Об этом свидетельствует известный отрывок из его «Записных книжек»:

Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик -- на уровне сердца, ума и души. Писатель -- на космическом уровне.

Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик -- о том, как должны жить люди. Писатель -- о том, ради чего живут люди. <sup>(8)</sup>

Тут даже не требуется добавлять, что Довлатов считал себя «рассказчиком».

#### 4) Безыдейность и неидеологичность; сопротивление введению в литературу всякой идеологии

В связи с отсутствием морализаторства у Довлатова проявляется еще одна яркая особенность: у него не только отсутствует идейная позиция, но он даже сознательно сопротивляется всякой идеологизации литературного дела, то есть всякой внелитературной силе, которая навязчиво вмешивается в литературу. В конце автобиографической, документальной повести «Ремесло» есть одно интересное место, которое ясно показывает такую «безыдейную» позицию писателя: Когда произошел пожар в редакции русской газеты, где Довлатов работал главным редактором, американский полицейский спрашивает:

-- Как вы думаете, это поджог? Кого вы подозреваете? Кто мог это сделать? У вас есть конкуренты? Идейные противники?

Я сказал:

-- У меня нет идейных противников. Хотя бы потому, что у меня нет идей. <sup>(9)</sup>

Не может быть, собственно говоря, чтобы у человека не было никаких идей, так что мы должны понять эти слова в плане скорее литературного приема, чем автобиографической исповеди самого автора.

Такая позиция Довлатова очень ярко выражается одним коротким предложением из «Записных книжек»: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов».

(10) Я лично считаю это одним из самых поразительных и самых удачных высказываний в современной русской литературе.

#### 5) Умышленное «снижение» позиции повествователя (intentional understatement)

Автобиографический повествователь Довлатова часто как бы снижает самого себя в глазах читателя. Например, в повести «Наши» он, недолго находясь в Вене по дороге в эмиграцию в Америку, «что-то писал для эмигрантских газет и журналов. Главным образом, расписывал свои несуществующие диссидентские подвиги». (11) А когда он рассказывает, как плохо он учился, постоянно поддерживается такой же самоуничижительный тон: «...И снова пошли двойки. Причем не за вольномыслие, а за тупость (...). Короче, учился я плохо.» (12)

Это может быть, с одной стороны, еще одним проявлением скромной природы самого Довлатова (был ли он в действительности таким скромным человеком?), но поскольку мы имеем дело с литературными произведениями, лучше понять это все-таки как умышленное с низжение или как своеобразный литературный прием. Когда мы сравниваем Довлатова с такими писателями-эмигрантами, как Бродский или Лимонов, с точки зрения отношения их повествователей к окружающему миру, нельзя не заметить, что Довлатов составляет яркий контраст с другими писателями именно этим «снижением самого себя». В отличие от Довлатова Бродский держится всегда выше, чем окружающий его прозаичный мир, так как у него есть определенная иерархия, по которой литература должна стоять выше чем политика и повседневная реальность. В случае Лимонова нельзя сказать, чтобы он стоял выше. Но он агрессивно относится к окружающему миру, кощунственно нарушает табу, и через многословные бурные излияния чувств создается ультраромантическая «героизация» поэта-повествователя. В этом смысле Лимонов -- дальний потомок таких романтиков, как Байрон и Мицкевич, хотя он, правда, повторяет своих предшественников каким-то клоунским образом. Если у Лимонова «героизация», то у Довлатова «дегероизация».

#### 6) Ироническое отдаление от предметов изображения и от самого себя

Каждый читатель сразу замечает присутствие особенной иронии везде в творчестве Довлатова. Но поскольку это ирония очень тонкого, деликатного характера, трудно определить ее натуру точно. Я бы определил ее как ироническое расстояние, сохраняемое между повествователем и предметами изображения. При этом важно, что это ироническое отдаление применяется не только к негативным персонажам, но также к близким людям и даже самому себе. В результате получается нечто вроде уравновешенной «релятивистской» поверхности, на которой выступают все люди, как равноправные персонажи со своими достоинствами и пороками. Вот почему у Довлатова очень трудно отличить отрицательных героев от положительных. Хотя ирония иногда способна перевернуть существующий порядок вещей и ценностей, довлатовская ирония обычно не приводит к такому бахтинскому «карнавальному перевороту». И если даже порой происходит «переворот», это все-таки нечто очень мягкое. Например:

В общем, то, что Сталин -- убийца, моим родителям было хорошо известно. И друзьям моих родителей -- тоже. В доме только об этом говорили.

Я одного не понимаю. Почему мои обыкновенные родители все знали, а Эренбург -- нет? <sup>(13)</sup>

Таким образом, притворяясь наивным человеком, повествователь «снижает» известного писателя Эренбурга, но не делает из своих родителей героев, так как они здесь представлены как простые люди с человеческими слабостями.

Такая довлатовская ирония, на мой взгляд, далека от традиционной сатиры, хотя почти во всех произведениях Довлатова наблюдаются сатирические аспекты: есть люди, которые считают его сатириком. Так, например, в своей книге «Современная русская сатира» Karen Ruap-Naues отвела целую главу анализу повести Довлатова «Наши», <sup>(14)</sup> исходя из непоколебимой предпосылки, что произведения Довлатова относятся к жанру сатиры. Но я сомневаюсь, поместится ли Довлатов в рамки традиционной сатиры.



Во всяком случае ирония Довлатова не приводит к ехидной, разоблачительной сатире, хотя его «чемодан» был битком набит материалами, подходящими для такой сатиры. Ирония Довлатова скорее уравнивает, функционируя на поверхности, а не перевертывает.

Откуда взялась такая своеобразная ирония? Можно всегда ответить на такой вопрос: «Это личность писателя -- такая». Но я полагаю, что в приобретении такой иронии значительным образом помогла Довлатову эмиграция. Эмиграция, конечно, была очень мучительным опытом для писателя, которому пришлось как бы висеть в пустоте без родной почвы. Но в то же самое время она может дать писателю привилегированный ракурс, невозможный на родине, и обеспечивает писателя расстоянием от родины и вообще от действительности, которое позволяет ему видеть этот абсурдный мир в несколько остраненном свете.

7) «Ненациональность» (отсутствие патриотического сознания о своей принадлежности к какой-либо национальности)

Как известно, Довлатов был по отцу евреем, а по матери армянином, и писал только по-русски. Таких писателей, кстати, немало в современной русской литературе: Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Чингиз Айтматов, Геннадий Айги и Анатолий Ким. Их можно назвать «русскими писателями» хотя бы по той простой причине, что они пишут по-русски. Довлатов тоже писал только по-русски, даже после эмиграции в Америку никогда не имел амбиции переключиться на английский язык.

Таким образом сложилась ситуация, довольно странная и парадоксальная в глазах, по крайней мере, японского читателя: писатель, этнически не русский, пишет по-русски, живя в Америке. А Довлатов сам определяет свое положение в интервью, взятом у него Виктором Ерофеевым, следующим образом:

-- [ Ерофеев ] Значит, вы себя чувствуете как бы абстрактно-русским?

-- [ Довлатов ] Я долго думал, как можно сформулировать мою

национальную принадлежность, и решил, что я русский по профессии.

-- А что значит -- русский по профессии?

-- Ну, я пишу по-русски. Моя профессия -- быть русским автором. <sup>(15)</sup>

Я думаю, что такое «ненациональное» самосознание было еще одним фактором, который способствовал формированию иронического расстояния, о котором мы уже останавливались. Но это не значит, что в творчестве Довлатова отсутствует национальный стереотип. В повести «Наши», например, он появляется в таком контексте:

-- Замерзли?--спросил Бобров. --Хотите выпить?

Как бы ни злился российский человек, предложи ему выпить, и он тотчас добреет... <sup>(16)</sup>

Конечно, это довольно банальная, стереотипная характеристика «российской» (или «русской»?) натуры, а отнюдь не серьезная проповедь «загадочной русской души». Такое замечание о народном характере остается на поверхности и тем самым вплетается в анекдотичную ткань повествования.

Эти черты поэтики Довлатова, на которых мы остановились, не совсем совпадают с традиционным образом русской литературы и делают Довлатова уникальным явлением в современной русской литературе. А при попытке определить его место в ней важно обратить внимание на отношение повествователя к окружающей его реальности и читателю. Благодаря поэтике иронического "understatement" о самом себе довлатовский повествователь не стоит выше, чем читатель, и его сниженная позиция покорила читающую публику, как об этом метко пишет Александр Генис. <sup>(17)</sup>

Вообще в русской литературе писателей с такой позицией -- мало. Такая «скромность» -- почти исключение среди честолюбивых писателей. Но нельзя, по моему, свести эту уникальность к личности самого писателя в биографическом плане. Мы можем разобраться в этом явлении как в текстуальной стратегии по отношению к

окружающей реальности и читателю, и именно этой стратегией Довлатов диаметрально отличается от таких писателей, как, скажем, Бродский и Лимонов.

Тут я хотел бы выдвинуть нечто вроде рабочей гипотезы, по которой можно различить три основные категории того, что я называю «текстуальной стратегией», представленные следующими тремя писателями: Бродским, Лимоновым и Довлатовым.

Бродский, во-первых, представляет «гиперлитературность», так как у него литература всегда выше, чем реальность, и литературность текста у него усложнена и усилена. Бродский не столько отрицает традиционную и существующую литературу, сколько старается идти дальше и выше на языке, который он считает «колоссальным ускорителем сознания, мышления и мироощущения». (18)

Лимонов, во-вторых, представляет «антилитературность», так как он борется с табу в традиционной литературе. Он нападает на существующие литературные каноны, которые он считает лицемерными, и выдвигает антитезы.

Довлатов, в-третьих, представляет «нелитературность» как текстуальную стратегию, так как он умышленно снижает себя до такого низкого положения, которое обычно считается по традиционным литературным канонам неподходящим для литературы.

В заключение хочется только добавить, что именно благодаря такой поэтике Довлатову удалось вернуться на Родину так успешно, что там принимают его как литературное явление, новое и в то же самое время очень близкое.

Историк русской литературы в изгнании Глеб Струве как-то писал, что зарубежная русская литература является только «временно отведенным в сторону потоком общерусской литературы» и она рано или поздно «вольется в общее русло этой литературы». (19) Это предсказание сбылось самым ярким образом не в лице Набокова или Солженицына, а в лице Довлатова: русские в метрополии сейчас начинают считать его «своим», принимая «не очень традиционно русскую» поэтику, которую Довлатов выстрадал, скользя в пустоте под именем «эмиграция», вдалеке от родины.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Вячеслав Курицын, Вести из филиала, или дурацкая рецензия на прозу Сергея Довлатова. «Литературное обозрение» 1990 No.12, с.42.
- (2) См.: Михаил Веллер, Ножик Сережи Довлатова. «Знамя» 1994, No.6.
- (3) Такао Томияма, Газета «Маинити Симбун» 2 ноя. 1997 г.
- (4) Петр Вайль и Александр Генис, «Родная речь» (Tenafly, USA: Ermitazh, 1990), стр.164.
- (5) Marianna Volkov, Sergei Dovlatov, Not Just Brodsky: Russian Culture in Portraits and Anecdotes (New York, 1988), p.64.
- (6) Джон Глэд (John Glad), «Беседы в изгнании», Москва, 1990, стр. 90.
- (7) Olga Matich and Michael Heim, eds., The Third Wave: Russian Literature in Emigration (Ann Arbor: Ardis, 1984), p.240.
- (8) Сергей Довлатов, Собрание прозы в трех томах [ Ниже -- СП в 3 т ], Санкт-Петербург, 1993. Том 3, стр. 292.
- (9) СП в 3 т. Том 2, стр. 151.
- (10) СП в 3 т. Том 3, стр. 293.
- (11) СП в 3 т. Том 2, стр. 238.
- (12) СП в 3 т. Том 2, стр. 194.
- (13) СП в 3 т. Том 2, стр. 189.
- (14) Karen Ryan-Hayes, Contemporary Russian Satire: A Genre Study (Cambridge University Press, 1995), Chapter 4 "The Family Chronicle Revisited: Dovlatov's Ours" (pp.150-192).
- (15) СП в 3 т. Том 3, стр. 347.
- (16) СП в 3 т. Том 2, стр. 223.
- (17) Александр Генис, «Десять бесед о новой словесности» (еще неопубликованная рукопись автора), стр.47.
- (18) Иосиф Бродский, Нобелевская лекция. В кн.: Иосиф Бродский, «Форма времени: Стихотворения, эссе, пьесы». В 2 т. Минск, 1992. Том 2, стр. 462.
- (19) Глеб Струве, Русская литература в изгнании, 2-е изд., Париж, 1984, Стр.7.